

ПУСТОШИ МОИХ МЫСЛЕЙ



Аслан
Юсубов



Аслан Юсубов

Пустоши моих мыслей

<https://litres.ru/73474502>

SelfPub; 2026

Аннотация

Он не говорит с миром уже много лет. Единственное убежище Идриса — пустоши, бескрайние серые равнины его сознания, где он создаёт разговоры, которых никогда не случилось, и встречает людей, которых боится увидеть в реальности.

Всё меняется в тот миг, когда он становится единственным свидетелем убийства. Идрис знает имя преступника, но как рассказать об этом, если твой голос принадлежит только фантазиям?

Это роман о том, как одиночество превращается в любовь, молчание — в правду, а пустота — в дом, полный света о том, что настоящая жизнь всегда находится между — между страхом и надеждой, между потерей и обретением, между пустошью и садом.

Содержание

ПРОЛОГ	4
ГЛАВА ПЕРВАЯ	6
ГЛАВА ВТОРАЯ	12
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	21
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Аслан Юсубов

Пустоши моих мыслей

ПРОЛОГ

В пустошах нет времени, и это единственное, что делает их пригодными для жизни: там я могу сидеть на скамейке с попутчицей целую вечность, обсуждая вкус мороженого, которое тает на солнце, а в реальности автобус только тронется от остановки; там я прохожу через всю пустыню с человеком, чьё лицо я вижу впервые, а дома, в реальности, остынет чай, который я забыл допить.

Люди вокруг убеждены, что молчание — это пустота, зияющая дыра, которую необходимо заполнить словами, но они не знают главного: молчание — это самая густонаселённая территория на свете, там, где живут тысячи голосов, говорят без остановки, перебивая друг друга, спорят, мирятся, признаются в любви и в убийствах. Там я никогда не один.

Меня зовут Идрис, и я толкователь снов, которых никто не видит, кроме меня самого, хранитель тайн, о которых никто не просил, но которые тяжёлым грузом лежат на моих плечах. Всё началось в тот вечер, когда я увидел, как падает человек, или, если быть совсем точным, всё началось задолго до этого — в тот самый первый раз, когда я закрыл глаза

в переполненном автобусе и вдруг понял, что открывать их обратно совсем не обязательно, потому что там, внутри, гораздо безопаснее и гораздо честнее, чем здесь, снаружи.

Иногда самый длинный путь — это путь от собственных глаз до чужих, иногда мы так и не проходим его до конца.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Автобус качнуло на повороте, и Идрис закрыл глаза не столько от толчка, сколько от количества людей, заполнивших салон до отказа. Их было слишком много для восьми часов утра, и дышать приходилось поверхностно, мелкими глотками, чтобы случайно не впустить в себя чужие запахи, чужие жизни, чужие мысли, которые плотным слоем висели в нагретом воздухе.

На остановке женщина с тяжёлой сумкой тронула его за плечо и спросила, выходит ли он. Идрис видел, как шевелятся её губы, но звук её голоса доходил до него с заметной задержкой, словно преодолевал толстый слой ваты, которым был обложен мир снаружи. Он не ответил, просто моргнул и оказался на скамейке у озера, где вода пахла тиной и нагретым солнцем деревом, а та же самая женщина сидела рядом, но сумка исчезла, и в руках у неё было белое мороженое, тающее на солнце.

Когда он вернулся, автобус стоял на конечной остановке, водитель смотрел на него в зеркало заднего вида и что-то го-

ворил, но Идрис уже вышел в серый утренний воздух, пахнувший выхлопными газами и мокрым песком, и сорок минут шёл пешком до дома, где его ждала тишина.

Вечером того же дня закончился кофе, единственный ритуал, который ещё удерживал его на этой стороне реальности, и Идрису пришлось выйти в магазин, хотя за окнами уже давно стемнело и начал накрапывать мелкий осенний дождь.

Город после дождя был мокрым и блестящим, фонари отражались в лужах так ярко, что казалось, под ногами простирается второе небо, усыпанное звёздами, на которые Идрис старался не наступать, хотя прекрасно понимал всю абсурдность этого занятия в мире, где абсурд давно стал нормой жизни.

Он срезал путь через пустырь, где когда-то планировали построить парк, но деньги закончились, и осталась только ровная площадка, поросшая редкой травой, в темноте казавшаяся бесконечной и манящей своей пустотой, обещающей лёгкий переход в другое пространство.

Первым был слышен звук глухой и тяжёлый, словно мешок с песком упал с большой высоты на твёрдую землю. Потом наступила тишина, такая плотная, что в ней можно было утонуть, а дальше раздались шаги — быстрые, уверенные, не бегущие, но стремящиеся как можно скорее покинуть это место.

В темноте Идрис разглядел два силуэта: один неподвижно лежал на земле, второй стоял над ним, склонившись, а затем

выпрямился и медленно повернул голову в ту сторону, где замер Идрис, забывший, как нужно дышать и двигаться.

Идрис не мог закричать, потому что голос здесь, в реальности, давно ему не принадлежал. Он не мог побежать, потому что ноги приросли к мокрой земле. Всё, что он мог, — только закрыть глаза и надеяться, что когда откроет их, всё это исчезнет, растворится в утреннем тумане, окажется очередным сном, который можно будет забыть.

Поезд шёл через ночь, и за окном проплывали редкие огни далёких деревень, похожие на светлячков, застрявших в густой темноте. В купе было тепло и уютно, пахло дорожной пылью и чуть сладковатым чаем, который остывал в стакане с подстаканником на маленьком столике. Напротив Идриса сидел мужчина, лица которого невозможно было разглядеть, хотя Идрис понимал, что это лицо он обязательно вспомнит, когда вернётся обратно в реальность.

— Ты ничего не видел, — сказал мужчина, и это был не вопрос, а утверждение, вынесенное окончательно и без права обжалования.

— Я ничего не видел, — послушно ответил Идрис, и голос здесь звучал легко и свободно, не натываясь на преграды и не проваливаясь в бездонную тишину.

— Хорошо, — мужчина откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. — Тогда доедем спокойно, дорога длинная, успеем ещё поговорить о всяком.

Поезд мерно покачивался на стыках рельсов, и Идрис смотрел в окно на проносящиеся мимо огни и думал о том, что это путешествие могло бы длиться вечно, если бы не одно обстоятельство, о котором он старался не вспоминать.

За окном поезда простиралась бесконечная пустошь, серая и ровная, без единого дерева или холма, только редкие кусты перекати-поля, застрявшие в придорожных колючках. Эта пустошь напоминала ему то место, откуда он только что пришёл, и он знал, что рано или поздно ему придётся туда вернуться.

Поезд качнуло особенно сильно, и Идрис открыл глаза. Пустырь был пуст: только тёмное пятно на земле впереди, к которому он подошёл почти без страха, потому что страх остался там, в поезде, вместе с попутчиком, чьё лицо он так и не разглядел.

Человек лежал лицом вниз, и рука его была неестественно вывернута, и Идрис смотрел на него долго, не прикасаясь, не пытаясь помочь, потому что помощь здесь была уже бесполезна, и только считал про себя до пяти, чтобы не провалиться обратно в пустоту.

Где-то далеко залаяла собака, и этот лай приближался вместе с голосами людей, спешащих на помощь или просто из любопытства, и Идрис развернулся и пошёл прочь, унося

в себе образ падающего человека и уверенность в том, что он действительно ничего не видел.

Дома он заварил кофе и выпил его, глядя в тёмное окно, за которым начинался новый день, хотя на часах была только половина первого ночи, и лёг спать, надеясь, что сны сегодня будут пустыми и тихими, как та пустошь, по которой он шёл, возвращаясь домой, но сон не приходил. Идрис лежал с открытыми глазами, глядя в потолок, на котором плясали тени от проезжающих за окном машин, и в голове его снова и снова прокручивалась одна и та же картина: падающий силуэт, второй силуэт, замирающий на мгновение, взгляд, направленный в темноту, туда, где стоял он сам. Он не знал, сколько времени прошло — может быть, час, может быть, три, — но в какой-то момент он понял, что лежит не один, где-то на границе сна и яви, в той самой пограничной зоне, откуда был рукой подать до пустошей. Он почувствовал чьё-то присутствие. Он не видел лица, только смутные очертания, но знал — это тот, с пустыря. Тот, кто стоял над телом.

— Ты меня не видел, — сказал голос не угрожающе, а скорее устало, как человек, который очень надеется, что его поймут правильно.

— Не видел, — ответил Идрис во сне или в яви — он уже не различал.

— Вот и хорошо, спи.

Идрис провалился в сон и спал до утра без сновидений, а утром, открыв глаза, долго лежал и смотрел в потолок, пы-

таясь понять: было это на самом деле или только показалось. Он так и не понял.

Увиденное нельзя сделать невидимым, как нельзя сделать несделанным то, что уже случилось. Можно только закрыть глаза и надеяться, что внутри найдётся место, где это перестанет болеть.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В кабинете следователя пахло безнадежностью, и этот запах состоял из множества компонентов: бумажной пыли, скапливающейся в папках годами, старого кофе, который здесь пили литрами, мужского пота, ввевшегося в кожаные кресла, и страха, который источали все, кто переступал порог этого помещения, потому что страх обладает самым стойким ароматом, способным пропитать стены насквозь, подобно табачному дыму.

Идрис сидел на стуле у стены, сжавшись в комок так сильно, что казалось, будто он пытается занять как можно меньше места в этом враждебном пространстве, и руки его были сложены на коленях с пальцами, переплетёнными в сложный защитный узел, а глаза смотрели в пол, не поднимаясь выше плинтуса, за которым начинался уже совсем чужой и опасный мир.

Напротив него за столом восседал майор Кузин, грузный мужчина с лицом, изрезанным глубокими морщинами, каждая из которых, вероятно, означала какое-то особенно тяжё-

лое дело, и сейчас он смотрел на Идриса с плохо скрывае-
мым раздражением человека, привыкшего получать ответы
на свои вопросы.

— Ты понимаешь, парень, в каком положении находишь-
ся? — спросил Кузин, повышая голос, словно громкость
могла пробить броню молчания Идриса. — Ты единствен-
ный свидетель убийства, и от твоих показаний зависит, най-
дём мы преступника или нет, а ты сидишь здесь и молчишь,
как рыба об лёд.

Идрис молчал, и молчание его было таким плотным и тя-
жёлым, что, казалось, заполняло собой весь кабинет, вытес-
няя воздух и делая дыхание затруднительным для всех при-
сутствующих.

— Может, он вообще не говорит? — предположил моло-
дой лейтенант, сидевший в углу с блокнотом наготове. —
Немой, то есть, бывает такое.

— Врачи сказали: — не немой, — отрезал Кузин, бараба-
ня пальцами по столу. — Голосовые связки в порядке, мозг
в порядке, а говорить не хочет. Психолог сказал: — сложный
случай, слишком глубоко ушёл в себя, рекомендовал специ-
алистку из кризисного центра, которая работает с такими па-
циентами.

Идрис слушал их разговор, но звуки доносились до него
словно сквозь толщу воды, и он считал про себя до пяти, что-
бы не провалиться в спасительную пустоту раньше времени,
потому что здесь, в кабинете, это было опасно — вдруг они

заметят, вдруг поймут, что его здесь нет, хотя тело продолжает сидеть на стуле с переплетёнными пальцами.

Дверь открылась, и вошла женщина, и с её появлением запах безнадёжности в кабинете слегка изменился, смешавшись с чем-то свежим и живым, напоминающим о вещах, которые Идрис давно забыл: о мокрой траве после дождя, о нагретом солнцем дереве, о тишине, которая бывает не мёртвой, а живой и дышащей.

— Диана, — представилась она, не протягивая руки ни Кузину, ни тем более Идрису, и голос её был тихим и спокойным, не требующим немедленного ответа, не атакующим, а просто присутствующим рядом. — Я психолог, меня вызвали для работы со свидетелем.

Кузин кивнул в сторону Идриса и развёл руками, словно показывая: вот он, объект вашей работы, смотрите, что можно сделать с этим камнем, из которого мы уже полдня пытаемся выбить хоть слово.

Диана пододвинула стул и села напротив Идриса, не слишком близко, чтобы не нарушать его личное пространство, но и не слишком далеко, чтобы он мог разглядеть её лицо, если вдруг поднимет глаза, и она смотрела на него спокойно и выжидающе, не требуя ничего, кроме разрешения просто быть рядом.

— Идрис, — сказала она тихо, и имя его в её устах прозвучало не как клеймо или приговор, а как простое обращение к человеку, который имеет право молчать, если хочет.

— Я не буду задавать тебе вопросов, потому что вижу, что ты не готов на них отвечать. Я просто посижу здесь немного, если ты не против, а потом уйду и приду завтра снова.

Идрис не поднял глаз, но ресницы его дрогнули, и Диана заметила это движение, поняв его как маленькую победу, как трещину в броне, через которую рано или поздно можно будет проникнуть внутрь.

В коридоре, когда она вышла, Кузин набросился на неё с вопросами, и Диана ответила ему спокойно и твердо, объясняя, что Идрис не немой и не сумасшедший, а просто человек, построивший вокруг себя крепость, и что задача заключается не в том, чтобы разрушить эту крепость, а в том, чтобы найти способ войти в неё через единственные ворота, которые он готов открыть.

— Его зовут Идрис, — сказала она, выходя из здания. — Толкователь. Интересно, какие сны он толкует и кто населяет его внутренний мир, пока мы здесь бьёмся головой о стены его молчания.

Кухня была маленькой и тесной, с обоями в мелкий цветочек, которые давно уже выцвели и местами отошли от стен, с холодильником старым и гудящим, с плитой, на которой закипал чайник, выбрасывая в воздух облачка пара, пахнуще-

го мятой и покоем. Идрис сидел на табурете, покрытом вытертой клеёнкой в клетку, и напротив него сидел Мамедов, майор, который днём в кабинете смотрел на него усталыми глазами и наливал воду в пластиковый стаканчик. Здесь Мамедов был без формы, в простой майке, обнажающей крепкие, но уставшие плечи, и лицо его было не служебным, а домашним, расслабленным, с мелкими морщинками у глаз, которые становились заметны только при близком рассмотрении.

— Дочка у меня болеет, — сказал Мамедов, не глядя на Идриса, а глядя куда-то в стену поверх его плеча. — Третий день температура держится высокая, врачи ничего понять не могут. Жена с утра на работе, потому что отпуск давно кончился, а я с ночной смены пришёл и уже второй час не могу уснуть, все думаю о ней.

Идрис молчал, но молчание его здесь было не враждебным и не защитным, а внимательным и сочувствующим, позволяющим человеку выговориться без страха быть осуждённым или непонятым.

— Ты знаешь, Идрис, что самое тяжёлое в нашей работе? — Мамедов наконец перевёл взгляд на собеседника, и глаза его были тёмными и глубокими, как колодцы. — Не трупы, нет, к ним привыкаешь, как бы это страшно ни звучало, не кровь и не насилие, потому что со временем вырабатывается профессиональная защита. Самое тяжёлое — это ложь: каждый день приходится врать, понимаешь?

Чайник закипел и щёлкнул, отключаясь, но никто не встал, чтобы разлить чай по кружкам.

— Преступникам врётся, что поймаешь их обязательно, хотя сам знаешь, что шансов мало; начальству врётся, что дело под контролем, хотя оно разваливается на глазах; же- не врётся, что всё нормально, что усталость обычная, работа есть работа; себе врётся, что так и надо, что по-другому нельзя, что все так живут.

— Зачем ты врешь? — спросил Идрис, и голос его здесь был ровным и спокойным, без напряжения, которое сковывало горло в реальности.

Мамедов усмехнулся горько и покачал головой.

— А затем, Идрис, что правда слишком тяжёлая — не каждый выдержит. Вот ты, например, молчишь, потому что правду сказать боишься или потому что правда твоя такая, что слов для неё нет?

Идрис подумал над этим вопросом всерьёз, потому что в фантазиях он мог позволить себе думать над вопросами столько, сколько нужно, не опасаясь, что пауза будет сочтена за слабость или болезнь.

— Наверное, потому что слова, которые есть, не подходят для того, что я чувствую, — ответил он наконец. — Они слишком маленькие и плоские, а то, что внутри, большое и глубокое, и если я начну говорить маленькими словами, оно перестанет быть настоящим.

Мамедов кивнул, словно понял что-то важное, и наконец

встал, чтобы разлить чай по кружкам, которые стояли на столе уже приготовленные, с ложками и сахарницей.

— А сны тебе снятся? — спросил он, ставя перед Идрисом дымящуюся кружку. — Я вот последнее время часто вижу один и тот же сон: иду по пустому месту, по степи или пустыне, и никого вокруг нет, только я один, и так хорошо мне там, спокойно, что просыпаться не хочется.

— Это не сон, — тихо сказал Идрис, вглядываясь в лицо Мамедова, пытаясь найти там подтверждение тому, что сам чувствовал каждую минуту своей жизни. — Это пустошь, туда можно уходить, даже не засыпая: просто закрыть глаза и оказаться там.

— Научишь? — спросил Мамедов, и в глазах его мелькнуло что-то странное, чего Идрис не смог сразу распознать: тоска, надежда или страх.

— Ты уже там, — ответил Идрис, поднимая кружку и вдыхая запах мяты. — Мы оба здесь, вопрос только в том, сможешь ли ты вернуться обратно, когда придёт время.

Мамедов не ответил, только смотрел на Идриса долгим взглядом, и в этом взгляде читалось что-то такое, от чего внутри у Идриса зашевелился холодный страх, тот самый, который он чувствовал на пустыре, глядя на падающий силуэт.

Идрис моргнул и открыл глаза в реальности.

Кабинет был пуст: только Кузин сидел за своим столом и что-то писал в бумагах, не обращая на него внимания. Пла-

стиковый стаканчик с водой стоял нетронутым, и вода в нем чуть подрагивала от вибраций проезжающих за окном машин.

Идрис посмотрел на свои руки, все так же переплетённые на коленях, и подумал о том, что Мамедов в фантазии сказал что-то очень важное, но что именно — ускользало от понимания, таяло, как утренний туман, оставляя после себя только смутную тревогу.

В тот вечер, вернувшись домой, Идрис долго сидел на кухне, глядя в одну точку. Перед глазами стояло лицо Мамедова — уставшее, но не злое, не требовательное, а почти домашнее. Странно, в реальности так не смотрят на свидетелей, тем более на тех, кто отказывается говорить.

Он достал бумагу и карандаш и начал рисовать, сам не зная зачем, просто рука сама потянулась. На рисунке появилась маленькая кухня с обоями в цветочек, старенький холодильник, чайник на плите. За столом сидели двое — он сам и Мамедов. Перед ними стояли кружки с чаем, и пар поднимался над ними тонкими струйками. Идрис смотрел на рисунок и чувствовал странное тепло в груди. Такого не было давно, очень давно, с тех самых пор, как бабушка умерла. Он убрал рисунок в ящик стола и лёг спать и впервые за много лет уснул без страха, без желания провалиться в пустошь, без тревоги — просто уснул, как обычный человек.

Иногда люди говорят правду только во сне или в чужой фантазии, потому что реальность слишком жестока, чтобы в ней признаваться в самых страшных вещах. Иногда убийца приходит к тебе на кухню не затем, чтобы убить, а затем, чтобы рассказать, как он это сделал, и услышать, что это было не зря.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Диана пришла ровно в десять утра, как и обещала накануне, и Идрис ждал её, хотя сам себе в этом не признавался, потому что ожидание кого-то было чувством, которое он давно похоронил в себе вместе со всеми остальными чувствами, требовавшими участия другого человека.

Кузин выделил для их встреч отдельный кабинет, маленький и тесный, с одним окном, выходящим во внутренний двор, где росли чахлые тополя и стояла старая детская площадка с ржавыми качелями, на которых никто никогда не качался. Здесь пахло побелкой и тишиной, и это было лучше, чем кабинет следователя с его запахом безнадёжности и страха.

Диана села напротив Идриса, но не за стол, отделяющий их друг от друга, а сбоку, под углом, чтобы он мог смотреть в окно или в стену, если захочет, и не чувствовать себя загнанным в угол.

— Я принесла бумагу и карандаши, — сказала она, выкладывая на стол несколько простых карандашей разной мягко-

сти и стопку белой бумаги, такой чистой и гладкой, что на неё хотелось смотреть, не отрываясь. — Ты не обязан говорить со мной словами, можешь рисовать то, что чувствуешь или видишь, можешь не делать вообще ничего, а я просто посижу рядом, если ты не против.

Идрис смотрел на бумагу, и белизна её манила его, обещающая чистый лист, на котором можно было разместить всё, что накопилось внутри за годы молчания, не боясь, что слова будут слишком маленькими и плоскими для его чувств. Он протянул руку и взял карандаш, самый мягкий, почти уголь, и Диана замерла, стараясь даже дышать тише, чтобы не спугнуть этот редкий момент, когда крепость приоткрывает свои ворота хотя бы на миллиметр. Идрис начал рисовать, и рука его двигалась по бумаге легко и уверенно, словно делала это каждый день, хотя на самом деле он не рисовал уже много лет, впервые попробовав это вчера, с тех самых пор, как мир стал слишком громким и требовательным, а карандаши перестали успевать за образами, рождающимися в голове.

На бумаге появился автобус, старый и пыльный, с затемнёнными стёклами, за которыми угадывались силуэты людей, и автобус этот ехал по бесконечной дороге через пустошь, и на горизонте не было ничего, кроме серого неба и серой земли, сливающихся в одну линию.

Диана смотрела на рисунок и чувствовала, как внутри у неё что-то сжимается от тоски, которую излучало это изображение, тоски такой глубокой и всеобъемлющей, что ды-

шать становилось трудно.

— Это место, куда ты уходишь? — тихо спросила она, не столько спрашивая, сколько утверждая, потому что ответ был очевиден для того, кто умеет читать между линий.

Идрис кивнул, не поднимая глаз от рисунка, и добавил ещё несколько штрихов, прорисовывая фигуру водителя, чьё лицо было размытым и нечётким, почти невидимым.

— А кто там едет с тобой? — спросила Диана, указывая на силуэты в салоне автобуса. — Ты рисуешь людей, которых встречаешь там?

Идрис остановился и задумался, прикусив губу, и Диана видела, как он борется с желанием уйти в свой мир прямо сейчас, прямо здесь, при ней, потому что вопросы были слишком трудными и требовали ответов, на которые у него не было сил.

Неожиданно дверь открылась, и в кабинет вошёл Мамедов, и Идрис вздрогнул так сильно, что карандаш выпал из его руки и покатился по столу, оставляя за собой серый след.

— Извините, что прерываю, — сказал Мамедов, и голос его звучал ровно и спокойно, но глаза его скользнули по рисунку и задержались на нем дольше, чем требовалось для простого любопытства. — Кузин просил передать, что через час придёт адвокат потерпевшей стороны, хочет поговорить со свидетелем.

— Я думаю, это не лучшая идея сейчас, — ответила Диана, вставая между Мамедовым и Идрисом, словно защищая

его от невидимой опасности. — Идрис не готов к общению с посторонними.

Мамедов посмотрел на неё долгим взглядом, и в этом взгляде читалось что-то такое, от чего Диане стало не по себе, хотя она не могла объяснить причину этого чувства даже самой себе.

— Я просто передаю просьбу, — сказал Мамедов, и уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. — Решать вам, как специалисту, но учтите, что дело не ждёт, и каждая минута молчания вашего подопечного может стоить кому-то жизни.

Он вышел так же внезапно, как и вошёл, и после его ухода в кабинете остался запах его одеколona, резковатый и навязчивый, смешанный с чем-то ещё, что Диана не могла определить, но что заставило её насторожиться.

Идрис сидел неподвижно, глядя на дверь, за которой скрылся Мамедов, и лицо его выражало такую сложную гамму чувств, что Диана растерялась, пытаясь их расшифровать: страх, узнавание, тоска и ещё что-то, похожее на жалость.

— Ты его знаешь? — спросила Диана, садясь обратно на своё место. — Ты уже видел его раньше?

Идрис медленно кивнул и снова взял карандаш, но рисовать не стал, а просто сжимал его в пальцах так сильно, что костяшки побелели.

— Ты можешь мне рассказать? — спросила Диана, понимая, что рискует, что давит слишком сильно, но чувствуя, что этот момент может быть ключевым. — Не словами, мо-

жешь нарисовать.

Идрис посмотрел на чистый лист бумаги, потом перевёл взгляд на дверь, потом снова на бумагу, и рука его дрогнула, начиная новый рисунок поверх старого, смешивая образы в один сложный и противоречивый сюжет. На этот раз он рисовал не автобус и не пустошь. Он рисовал кухню, маленькую и тесную, с обоями в цветочек, с чайником на плите, с двумя фигурами за столом, пьющими чай и о чем-то разговаривающими, и одна из этих фигур была сам Идрис, а вторая — Мамедов, и оба они выглядели спокойными и умиротворёнными, словно старые друзья, встретившиеся после долгой разлуки.

Диана смотрела на рисунок и не верила своим глазам, потому что Идрис изобразил сцену, полную такого тепла и доверия, какое невозможно представить между свидетелем и следователем, между замкнутым молчуном и усталым майором.

— Это там? — спросила она, касаясь пальцем рисунка, но не прикасаясь к самой бумаге, словно боялась разрушить хрупкое изображение. — В твоём мире?

Идрис кивнул и добавил ещё одну деталь: на руке Мамедова, в том месте, где закатан рукав майки, проступила тёмная линия, похожая на шрам или татуировку, и Идрис обвёл её несколько раз, делая более заметной.

— Это важно? — спросила Диана, и сердце её забило быстрее, потому что она чувствовала, что приближается к

чему-то очень важному, к той самой границе, за которой начинается разгадка.

Идрис поднял на неё глаза впервые за все время их знакомства, и взгляд его был таким ясным и осмысленным, что Диана на мгновение забыла, что перед ней человек, который не может говорить в реальности. Он протянул руку и взял её ладонь, и прикосновение его пальцев было холодным и сухим, и он нарисовал на её ладони что-то невидимое, водя пальцем по линиям жизни и судьбы, и Диана поняла: он пытается передать ей то, что не может сказать словами, то, что слишком важно, чтобы остаться невысказанным.

В этот момент дверь снова открылась, и на пороге появился Кузин с озабоченным лицом и сообщил, что пришёл адвокат и что Идрису придётся выйти в коридор для формальной процедуры опознания по фотографиям, даже если он не будет говорить.

Диана хотела возразить, но Идрис уже встал и направился к двери, и она пошла за ним, чувствуя, что только что произошло что-то очень важное, что-то, что может изменить всё, но что именно — она ещё не успела понять.

Идрис сидел на крыльце старого дома, и перед ним простирался двор, залитый южным солнцем таким ярким, что

глаза слезились, если смотреть вдаль, не прищуриваясь. Во дворе росла старая айва, усыпанная жёлтыми плодами, пахнущими мёдом и детством, и под этой айвой сидела бабушка и чистила яблоки для варенья, и нож в её руках двигался ритмично и спокойно, срезая кожуру длинными тонкими лентами.

Идрис любил смотреть, как она это делает, потому что в этом движении было что-то умиротворяющее, что-то, что говорило ему: мир не спешит, мир никуда не бежит, мир просто есть, и в этом его главное достоинство.

— Ты опять молчишь, Идрис, — сказала бабушка, не глядя на него, потому что она всегда знала, где он находится и что делает, даже не поворачивая головы. — Всё молчишь и молчишь, скоро слова забудешь, как их произносить.

— Я помню, бабушка, — ответил Идрис, и голос его здесь, в этой фантазии о детстве, был звонким и чистым, без той хрипотцы, которая появилась позже, когда он перестал пользоваться им в реальности. — Просто не всегда есть что сказать.

Бабушка усмехнулась и бросила очищенное яблоко в таз с водой, где оно тихо плеснуло, поднимая маленькие брызги, сверкающие на солнце как алмазы.

— Глупый ты еще, маленький, — сказала она ласково. — Говорить всегда есть что, вот смотри: яблоко пахнет так, как пахло в моем детстве, когда мы жили в горах и у нас был свой сад — это уже тема для разговора. Солнце греет спину,

и я чувствую, как тепло расходится по всему телу, и вспоминаю, как мы с твоим дедом грелись на камнях у реки — это тоже тема. Вокруг нас тысяча тем, а ты говоришь, что нечего сказать.

Идрис задумался над её словами и посмотрел на свои руки, маленькие ещё, детские, с обкусанными ногтями, и подумал о том, что бабушка права, но не совсем, потому что дело было не в темах, а в том, что слова, которыми он пытался описывать мир, всегда оказывались слишком маленькими для того, что он чувствовал.

— Ты знаешь, бабушка, — начал он медленно, подбирая выражения, — когда я смотрю на что-то красивое, например, на горы или на море, мне хочется не говорить, а молчать, потому что если я начну говорить, красота уменьшится, понимаешь? Она станет просто словами, а была чем-то большим.

Бабушка остановилась с ножом в руке и посмотрела на него долгим взглядом, и в глазах её было что-то такое, от чего Идрису стало тепло и спокойно, потому что этот взгляд говорил: я понимаю тебя, маленький, я всегда тебя понимала и всегда буду понимать.

— Ты особенный, Идрис, — сказала она тихо. — Ты чувствуешь мир глубже других. Это дар и проклятие одновременно. Ты будешь часто молчать, и люди будут думать, что ты пустой внутри, но я-то знаю, что внутри у тебя целый мир, больше, чем у всех них, вместе взятых.

Она протянула ему очищенное яблоко, и Идрис взял его и

откусил большой кусок, и вкус яблока был таким насыщенным и полным, что на глазах выступили слезы, потому что в реальности яблоки давно уже не были такими — там они были водянистыми и безвкусными, выращенными для продажи, а не для радости.

— Бабушка, — спросил Идрис, прожевав яблоко, — а что делать, если увидишь что-то страшное? Если увидишь то, чего видеть не должен?

Бабушка помолчала, и нож в ее руках замер на полпути к очередному яблоку.

— А ты уже увидел? — спросила она, и голос её стал серьёзным, без той ласковой игривости, которая была в нем минуту назад.

— Не знаю, — честно ответил Идрис. — Может быть, да, а может быть, и нет. Иногда я не понимаю, что происходит в реальности, а что — внутри.

Бабушка отложила нож и повернулась к нему всем телом, и солнце осветило её лицо, изрезанное морщинами, каждая из которых хранила память о прожитых годах, о потерях и радостях, о войне и мире, о любви и разлуке.

— Слушай меня внимательно, Идрис, — сказала она твердо. — Твой внутренний мир — это твоё убежище, туда никто не имеет права входить без твоего разрешения. Но если ты увидел что-то страшное в реальности, если это случилось на самом деле, а не внутри, то молчание может стать предательством, понимаешь? Предательством по отношению к тому,

кого больше нет.

Идрис смотрел на неё и чувствовал, как внутри разворачивается тугой узел, который он носил в себе столько лет, сколько себя помнил.

— А если я не могу говорить в реальности? — спросил он шепотом. — Если слова там не выходят? Если они застревают здесь, — он дотронулся до горла, — и не могут прорваться наружу?

Бабушка встала, подошла к нему и села рядом на крыльцо, обняв его за плечи своей сухой и тёплой рукой.

— Значит, будешь искать другие способы, — сказала она. — Бог дал человеку не только рот для разговора, есть глаза, есть руки, есть бумага и карандаш, есть люди, которые умеют слышать без слов. Ты найдёшь такого человека, Идрис, обязательно найдёшь, и тогда скажешь ему всё, что нужно сказать.

Она поцеловала его в макушку, и от этого поцелуя по всему телу разлилось тепло, такое сильное, что Идрис закрыл глаза, чтобы не расплакаться от счастья и боли одновременно. Когда он открыл глаза, бабушки рядом не было: не было айвы и яблок, не было старого дома и южного солнца – лишь коридор отделения полиции, пахнувший казённой краской и чужим горем, и перед ним стоял Кузин с папкой фотографий в руках, и лицо его выражало нетерпение и раздражение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.